
*Зеркало
памяти*

ВЕРА ВАСИЛЬЕВА



Мне захотелось
поделиться
с читателями *моей*
историей, чтобы
люди поверили:
пока жив человек,
судьба может
послать ему всё

Мне повезло
играть с Андреем
Мироновым
и Анатолием
Папановым

«Женитьба Фигаро»
с Александром
Ширвиндтом

Роль Ирмы Гарленд
в «Роковом влечении»



Жизнь, похожая на сказку

Зеркало памяти

Вера Васильева

Жизнь, похожая на сказку

«Издательство АСТ»

2019

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Васильева В. К.

Жизнь, похожая на сказку / В. К. Васильева — «Издательство АСТ», 2019 — (Зеркало памяти)

ISBN 978-5-17-108747-0

В своей биографической книге актриса Театра сатиры Вера Васильева искренне делится своими мыслями и чувствами, за многое благодарит судьбу. Еще студенткой театрального училища она снялась в фильме «Сказание о земле Сибирской» и мгновенно стала знаменитой, а затем сыграла в спектакле «Свадьба с приданным» и заблистала на театральных подмостках. Роли, что удалось сыграть, артисты и режиссеры, с которыми выпало счастье работать (а среди них Андрей Миронов, Анатолий Папанов, Георгий Менглет, Ольга Аросева, Нина Архипова, Александр Ширвиндт, Елена Образцова, Иван Пырьев, Эраст Гарин, Борис Равенских, Валентин Плучек и другие), а также любовь зрителей – «все это чудо». Вера Васильева выходит на театральную сцену более семидесяти лет, не переставая поражать своей красотой, грацией, молодым задором и удивительным жизнелюбием.

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-108747-0

© Васильева В. К., 2019
© Издательство АСТ, 2019

Содержание

От автора	6
Все имеет свое начало	7
«Сказание о земле Сибирской»	20
Конец ознакомительного фрагмента.	24

Вера Васильева

Жизнь, похожая на сказку

В оформлении книги использованы фотографии из личного архива автора, фондов музея Московского академического театра сатиры, музея Государственного академического Малого театра, РИА Новости, Фонда Елены Образцовой, Киноконцерна «Мосфильм», среди них – фотоработы Светланы Плотицыной, Елены Мартынюк, Вадима Шульца, Светланы Виноградовой, Николая Новоселова, Елены Сальтевской

Издательство выражает признательность за предоставленные материалы сотрудникам Московского академического театра сатиры: директору Мамеду Агаеву, заведующей музеем Марине Калининой, редактору пресс-службы Никите Молчанову и благодарит за помощь в работе над книгой Дарью Милославскую и Светлану Плотицыну

ISBN 978-5-17-108747-0

© В.К. Васильева, 2019

© РИА Новости

© Киноконцерн «Мосфильм» (кадры из фильмов)

© ООО «Издательство АСТ», 2019

От автора

Эта книга – мое письмо к неведомому другу, которому я могу доверить и свои мысли, и свою растерянность перед новой жизнью в XXI веке, и свои наблюдения над возрастом, а он уже крепко дает о себе знать. Друг – это читатель, испытывающий ко мне интерес, чувство симпатии и доверия, а иногда и любви. Мысленно обращаясь к такому человеку, я не буду стесняться ни своих страхов, ни своих мечтаний, хотя, казалось бы, в 91 год какие мечты? Смешно... Но это так.

Оценивая свои последние десятилетия, я не могу назвать их иначе как чудом. Роли, которые я сыграла и играю сейчас, цветы, что круглый год стоят в моей комнате, точно в оранжевое, любовь людей, которую я чувствую, радость и счастье, которые дарят мне крестница Дарья Милославская и ее дочка Светочка, моя названная внучка, – это все чудо.

Я и восприняла это как чудо, как награду за терпение, и мне захотелось поделиться с читателями моей историей жизни, чтобы, читая мою книгу, люди поверили: пока жив человек, судьба может послать ему всё... Пусть только душа будет жива, чтобы и радость, и горе принять достойно и прожить со всей полнотой чувств жизнь.

А жизнь прекрасна...

Все имеет свое начало

Забирайте с собой в путь свою раннюю юность, забирайте с собой свои человеческие движения, не оставляйте их на дороге, не подымете потом.

Н.В. Гоголь

Есть на свете прекрасная, мощная река Волга. О ней слагают стихи, поют песни, она олицетворяет собой русскую землю. Чуть выше города Твери есть пристань – Кокошка, и там, если пройти километров десять в сторону, стоит маленькая, любимая мною всю жизнь деревенька Сухой Ручей, где родился и жил мой отец и где я в детстве проводила каждое лето в кругу своих деревенских подружек. С этой деревней у меня связаны воспоминания об удивительных и прекрасных луговых запахах, о звуках и тишине, о песнях, о грибах и ягодах, о бане по-черному, о маленькой быстрой речке Тьмака, что впадает в Волгу, о запахе парного молока, о лягушачьем концерте на маленьком заросшем пруду за огородами, где стояли баньки, о простодушных, добрых людях – честных и бесхитростных, как дети. Это было так давно, что теперь мне делается страшно – вдруг все стало другим...

Каждое лето моя мама с нами, тремя ее дочерьми, нагрузившись тяжелой поклажей, отправлялась на все лето в деревню, а папа приезжал туда в свой отпуск. Мы были так бедны (хотя тогда я этого не знала), что у нас часто не хватало денег, чтобы ехать на пароходе, и мы шли пешком до нашей Кокошки. Вот и она!

Там на горе стоял трактир, он так и назывался тогда – не ресторан, а трактир, и богатые крестьяне, распродав на рынке свои продукты, сильно напивались в нем. И позже, когда я видела купцов в пьесах Островского, мне тотчас вспоминалась наша Кокошка и этот трактир. Пьяных я всегда очень боялась, эти здоровенные невменяемые мужики внушали мне ужас. Но рядом были моя мама и старшие сестры, и с ними все становилось нестрашным. На прилавке в трактире стоял большой самовар и лежали баранки (совсем как в фильме «Сказание о земле Сибирской»). Попив чайку с бараночками, мы ехали попутными телегами или шествовали пешком дальше. Мне очень нравилось, когда меня, как самую маленькую, брали на телегу. Запах сена, старых овчин, лошадиный шелковый зад с роскошным хвостом и какие-то поведенительно-спокойные, понятные для лошади слова и междометия хозяина, державшего вожжи: «Но-но... дура... Пшла... Тпр-р-ру...» И она слушалась, мотала головой и гривой, косила своим сливовым глазом. Проезжали поле, где среди ржи россыпями синели васильки, потом небольшой лесочек, где нас встречал птичий концерт, и наконец вдаль показывалась наша деревня, огромные деревянные ворота, на которых мы потом сидели, как воробышки на перекладинах.

По одну сторону деревни расположились добротные избы с самыми затейливыми резными наличниками, крашенными в белый, синий и желтый цвета. Улица широкая, с колодцами посредине. В окнах – цветущая герань и еще цветы, называемые «огоньками», очень веселенькие и яркие. Напротив каждой избы – через дорогу – ровно отгороженные частым заборчиком стояли сады с яблонями и вишнями, там же сараи, где хранилось сено и где мы сладко спали на овчинах и на подушках, набитых перьями.

Конечно, бывало, что заберешься в чей-нибудь сад и стащишь немножко яблочек, но это делалось только ради интереса, озорства, чтобы испытать что-то недозволенное, – ведь и яблоч, и вишен у всех было полным-полно.

Внутри каждая изба делилась. В передней – парадной – части пол, покрытый самодельными половичками (я в детстве хорошо умела их плести), был чисто вымыт и душист, стол был застелен чистойшей, связанной самой хозяйкой скатертью, к красному углу сходились

скамейки – гладкие и добротные, а в самом углу перед иконами в ризах мерцали красивые лампадки. И всегда особенно красивой была икона Николая Чудотворца (у нас в деревне и престольный праздник был связан с этой иконой). На окнах густо и весело алели цветы, их белоснежно окаймляли самодельно связанные или вышитые занавески.

Обедали и жили в маленькой комнате посреди избы, где стояла печка, там всё готовили: щи, картошку, гречневую кашу, топили молоко, пекли ржаные пироги с черникой. Молоко в кринках было розовое, покрытое коричневой корочкой. Хранились они в подполе, где я совершала свои первые «преступления»: очень любя сметану и пенки, я, когда меня посылали за кринкой молока, всегда во все засовывала палец, облизывала его и, насладившись, приносила единственную нетронутую кринку. Не знаю, почему меня никогда за это не наказывали. Возможно потому, что там, где побывал мой палец, густые сливки быстро соединялись и скрывали мое «преступление». Во всяком случае, страсть моя к пенкам не была наказана, и, вероятно, поэтому она не изжита мною до сих пор.

Задняя часть дома представляла собой коровник. В те времена у некоторых было по две-три коровы да еще теленок. Я забиралась туда и слушала коровье дыхание, втягивала в себя запах парного молока, смотрела, как доят корову умелые руки, как грубовато-любовно разговаривает с ней хозяйка.

Дыхание коровы, запах навоза и парного молока! Эти размеренные звуки доения, при котором струйка молока равномерно позванивает, попадая на стенку ведра. А тут же еще квохчут куры на насесте. И маленький теленок цедит сквозь зубы свое вкусное, разбавленное молоком пойло. Как от всего этого хорошо на сердце!

Сторожил деревенское стадо пастух, звали его Сокол. С детства он был дурачком, я же его застала уже седым и очень боялась, потому что у него текли слюни и он их не вытирал. Работал Сокол за ночлег и еду, которые ему попеременно давали жители деревни. Утром рано-рано раздавались звуки его колотушки – это пастух созывал свое стадо. А к полудню он пригонял коров на берег маленькой Тьмаки, и там, где в изгибе ее было мелко, коровы пили воду, мычали в ожидании своих хозяек.

Это место мы называли «полдневище», там в полдень доили коров. Шли мы к полдневищу сосновым лесом, и так как лето в детстве всегда кажется жарким, я помню только такое лето и тот удивительно сильный запах соснового бора.

Если болит душа, то стоит лишь прийти сюда подышать, посмотреть на подсохшие, розовые от солнечных лучей стволы, прислушаться к птицам и мошкаре, и уйдут все тревоги – уж очень хорошо в этом лесу, да еще если под ногами мелькает красная земляничка или голубеют кустики спелой черники. Господи, как же хорошо!

На речке, где мы купались, каждый изгибчик имел название: «окунячий», «ершачий» – рыбы в этой живописной речушке водилось много...

Собственного дома у нас в деревне не было – родители моего отца умерли, и мы снимали жилье у кого-нибудь из соседей: все жители были как бы родней – то дяди, то сватья, то крестные, то братья... Запомнились мне девичьи гулянья. Как только выглядывал месяц, начинала звучать гармошка, из каждого дома выбегала принаряженная девушка, и шли они широким рядом, распевая песни, а потом на пяточке у околицы долго-долго плясали, пели частушки, и видели мы, маленькие девчушки, как загорались глаза у парней и девушек и возникали первые романы, которые часто кончались свадьбой. Я дружила с семьей Ананьевых, там было четыре белобрых сестрички: Надя, Валя, Рима и Тамара. Особенно мы дружили с Валею: и возраст у нас был один, и характеры похожие. Мы до сих пор переписываемся, рассказывая друг другу о разных бытовых мелочах...

Я не застала родителей моего отца, но самого отца в деревне все очень любили и иногда даже говорили: «Кузьма у нас святой человек».

Ну вот и подошла я к тому моменту, когда надо рассказать об отце, к которому я относилась и отношусь с великой нежностью, гордостью и состраданием. Прошло уже больше пятидесяти лет, как его нет на свете, но те качества, которыми он обладал – доброта, редчайшая совесть, человеческая чистота, деликатность, душевность и прирожденный такт, – не забыты нами, его детьми, и всеми, кто был с ним знаком. Когда я читала Достоевского, в князе Мышкине видела своего отца, узнавала его черты в героях Толстого; я вижу его глаза, когда встречаю на полотнах русских художников лики святых праведников, вспоминаю его, когда слышу русские песни или птичий щебет в березовой роще, он стоит перед моими глазами, когда говорят о терпении и доброте русского народа...

Мне кажется, что он был очень красив – мой отец Кузьма Васильевич Васильев. Роста выше среднего, складный, но не спортивный и, наверное, не очень сильный, с русыми мягкими волосами, румянцем во всю щеку и удивительно добрыми голубыми, как незабудки, глазами.

В последние годы, когда болезнь сильно мучила отца, голова его стала белой как лунь. Таким он и остался в моей памяти – складный, уютный, в бархатной толстовке, седой, с глазами, готовыми заплакать от любви и сострадания.

Если люди, знавшие моего отца, говорят, что я истинная его дочка, – для меня нет выше оценки. Я была с ним до последней минуты его жизни. Когда мне хотелось хоть на мгновение увидеть на его измученном лице улыбку или зажечь свет в его глазах, я говорила: «Папа, а ты помнишь нашу деревню, помнишь Троицын день, когда каждая изба украшалась ветками березы?» Он сначала долго всматривался, словно откуда-то издалека приходило к нему видение его родной деревни, глаза его теплели, слабая рука пожимала мою руку, и по щеке тихо скатывалась слеза. На секунду – через боль – это далекое видение зажигало в нем жизнь. Он очень любил мою маму, и, снова желая увидеть его улыбку, я просила: «Расскажи, какая была моя мама, когда вы поженились». Он светло улыбался и, сияя своими глазами, коротко говорил: «Шурка-то! У нее была вот такая вот талия!» – и показывал ладонь, с которую была мамина девичья талия.

Мать свою я тоже очень любила, понимала ее сложный характер, мятежную натуру, всю ее неудовлетворенность: она не получила от жизни того, что хотела. Доброта, чистота, бескорыстие, мягкость, даже некоторое безволие – эти качества, такие дорогие мне в отце, не приносили радости моей матери, особенно в молодые годы. Родилась она в семье рабочего-гравера в Твери, детей было много, но все получили образование. Жили скромно, но были одеты и обуты. Бабушка – Федосья Гавриловна (я ее застала и в детстве проводила с ней много времени) была очень благородна и по внешности, и в поведении. Худенькая, с прекрасными волосами и милым лицом, изящная, всегда аккуратная, кроткая и хозяйственная, она жила только своими детьми и мужем. А муж ее, Андрей Егорович, был человек крутой, особенно когда выпьет, но работник, семьянин и хозяин отменный. Мама моя, Александра Андреевна, окончила в Твери коммерческое училище, изучала французский язык, и я даже помню, как она в детстве поражала меня иногда французскими словами и вырастала в моих глазах необычайно. Вероятно, из-за нужды она вышла замуж за деревенского парня – Кузьму – и всю свою жизнь ненавидела тяжелое деревенское житье, жестких родителей мужа, которые хотели приспособить ее к тяжелой крестьянской работе, согнуть мамину гордую натуру, заставить жить по законам своей устоявшейся домостроевской жизни. И то, что папа, любя, не мог заступиться за нее, не смел сказать в ее защиту ни одного слова, а только тайком от родителей утешал, на всю жизнь осталось в ней занозой и всегда вызывало негодование.

Этот мамин протест против той жизни не утих с годами, а, наоборот, стал как бы ее эмоциональным питанием. Когда она с ненавистью рассказывала о первых годах замужества, я всегда хотела закрыть уши, просила не продолжать, напоминала, что это мой отец и я его люблю. Мама замолкала, но я чувствовала, что ей надо было прокричать хоть шепотом, хоть тихо свою боль о несбывшихся мечтах и свою неудовлетворенность жизнью.

Я родилась в Москве, около Чистых прудов, в Гусятниковом переулке, близ Мясницкой улицы. Была младшей дочкой. Мои старшие сестры – Валентина и Антонина, а спустя четырнадцать лет после меня на радость всем появился братишка Васенька, которого я нянчила, любила и нежно люблю по сей день.

У нас была общая квартира в двухэтажном доме во дворе. В каждой комнате жили удивительные люди, похожие на героев пьес Юрия Олеши или первых рассказов Зощенко.

В одной большой комнате жила старушка Мария Ионовна, она была, наверное, как тогда говорили, «из бывших», на вид благородная, но какая-то замученная, с черными кругами под глазами. Ходила бесшумно, всегда в каких-то черных одеждах. Быстро что-то варила на керосинке или примусе, ни с кем ни о чем не говорила и сразу же исчезала в своей темной комнате. С ней жили две ее дочки – Аннета и Маруся – наверное, старые девы, такие же молчаливые, пугливые, одинокие. Они напоминали мне мышей – так мгновенно всегда исчезали. Никогда не общались с квартирными детьми, никогда ни о чем не спрашивали, ничем не угощали. Их комната с коричневыми обоями, с закрытыми плотными портьерами окнами, с тусклой лампочкой была похожа на какую-то темную щель.

В маленькой комнате около кухни жил их брат Митя, такой же тихий, необщительный, тоже с темными кругами под глазами. Теперь я жалею, что мало о них знаю, ведь, наверное, это были люди, потрясенные революцией, боявшиеся своих соседей, то есть нас, людей рабочих.

Наверное, если бы мне сейчас предстояло сыграть одинокую женщину, напуганную революцией, я бы прежде всего представила себе бледные лица своих соседок, нездоровую худобу, черные одежды, тихие шаркающие шаги, затаенный страх, желание быть незаметными, то есть почти не быть для других.

Их отношения были тихие – ни ссор, ни разговоров. Еще в одной комнате жила тоже, как ни странно, старая дева. Звали ее Надежда, она работала и, по-моему, была общественно очень активна.

Удобств в квартире не было, отапливались комнаты печками, и я очень любила, когда мы на кухне пилили дрова, заготавливая их на зиму. Там у каждой хозяйки был столик, на нем примус, керосинка, одна ржавая раковина – место, где все умывались. В середине в полу был ход в подпол, где наша семья хранила заготовленную летом картошку и кадки нашинкованной капусты – это было нашей главной едой. В квартире водилось много мышей и клопов. Клопов морили керосином, а вот с мышами почти не боролась, и я, выходя в коридор, всегда громко топала, чтобы они успели разбежаться. Боялась я их до потери сознания, и этот ужас и отвращение остались навсегда.

Все это было в самом раннем детстве, то есть в 30-е годы.

А спустя десяток лет я уже снялась в картине «Сказание о земле Сибирской» и вернулась почти неузнаваемая для моих соседей и подружек по двору. И вот однажды, когда в воротах появился один мой поклонник – известный и талантливый человек, – наша соседка, старшая из сестер, Аннета, вбежала в мою комнату, потрясенная его элегантным видом, костюмом, светлой шляпой и тростью, и, задыхаясь, почти шепотом выкрикнула: «Верочка, к вам какой-то господин идет». А был тогда уже 1947-й год. Значит, сильна была их память, а может, это осталось в крови – ведь тогда слово «господин» не произносили.

Многие из деревни переехали в город, кто в Тверь, кто в Москву, кто еще куда-нибудь! Все московские жили очень скромно, в подвалах, работали дворниками или истопниками, но праздники справляли исправно, и всегда на столе были деревенские соленые грибы, черника в ржанных пирогах, вкуснейшая капуста из своих кадок... А в магазине иногда покупали чуть-чуть сыру. За столом пели песни, особенно хорошо пела тетя Вера Калинина, у нее научилась и я и радовала папу песней «При лужке, лужке...». Папа работал на заводе шофером. Мама – кем-то на том же заводе, а вечером училась на инженера-плановика. В свободные минуты она всегда что-то шила, перешивала от старшей дочки для средней, от средней – для младшей. Ей

всегда хотелось быть красиво одетой, но однажды с одеждой у нее произошел казус. Она сшила себе пальто и щедро отделала его мехом. Это была необработанная шкура лося, которая очень лезла. На пальто красовался шикарный огромный воротник, и богатая опушка шла понизу. Но когда, впервые надев его, мама вошла в трамвай, от нее начали сторониться и даже роптать, так как лосиный мех сыпался не только на мамино черное сукно, но и на соседние пальто. Назревал скандал, и маме пришлось сойти. И все-таки она с этим пальто не рассталась, может быть, не было другого, а может быть, гордость ее непомерная не позволяла признать свое поражение.

Мама не была исключительной хозяйкой: варились только щи и картошка, которую потом ели с капустой.

Несмотря на то, что она имела трех дочерей, душой мама была на заводе, учебе, в какой-то кипучей, не домашней жизни. А папа, наоборот, после работы бежал домой, готовил обед, ждал ее с учебы и читал много книг. Книги производили на него сильнейшее впечатление. Иногда он отставлял книгу, снимал очки, вытирал слезы и говорил: «Как же хорошо написано!» Вера в написанное у него была детская. Помню, во время войны он всегда читал Эренбурга, восторгался и все хотел письменно его поблагодарить. Вообще чувство благодарности было ему присуще: он был благодарен Богу за свое маленькое семейное счастье, правительству за то, что страна становится могучей, и тем людям, которые говорили в газете о новой жизни, о справедливости, о светлом будущем. Он верил всему хорошему, хотя жили мы трудно. А мама все хотела вырваться из очерченного круга: то она требовала, чтобы папа катался с ней на коньках на Чистых прудах, взявшись за руки, под музыку, которая раздавалась на катке, и папа послушно учился и катался; то заставляла его учиться вечерами на механика, то возвращалась с работы, увлеченная очередной стенной газетой. В общем, родители мои пропадали на целый день, старшие сестры уже имели девичьи интересы, часто оставляли меня одну, и я большую часть времени была предоставлена самой себе. Они убегали во двор, когда было еще светло, а потом темнело, мне становилось страшно и одиноко в комнате. Я вставала босыми ногами на подоконник, на котором таял лед, и, дотянувшись руками и подбородком до форточки, тихонько кричала: «Мама, мне страшно...» К окну подбегали мои сестры, прикрикивали на меня и снова возвращались к своим друзьям.

Читала я много, очень любила Лидию Чарскую, потому что в ее книгах все было не так, как у меня, а мне хотелось тоже чего-то необыкновенного, и я становилась все тише и мечтательнее. Внешне – с папиным послушным, кротким характером, а внутренне – с мамиными мечтами, с ненавистью к своей, такой незаметной, серой жизни.

Первый раз я попала в театр – по-моему, в Театр имени Станиславского и Немировича-Данченко – днем, на «Царскую невесту», и была, конечно, покорена, унеслась мечтами в сказочный мир. Сраженная музыкой, красотой, волшебством, самим театром, придя домой, я села под стол, подняла, как в шатре, скатерть и запела нечто похожее на оперу. И с тех пор, как только я оставалась одна, а это было почти каждый день, я наряжалась в какие-то диковинные самодельные костюмы, украшала голову то бумажными коронами, то шляпами и пела какие-то вымышленные арии, потому что, конечно, запомнить музыку с первого раза я не могла, а петь о чем-то красивом хотелось.

В двенадцать лет я уже готовила обед для всей нашей семьи. Меню обычное: щи, картошка и капуста или винегрет. И всегда, когда я чистила картошку, пела свои арии, с неизменной шляпой на голове. Жили мы на первом этаже, и с улицы меня хорошо было видно. Так во дворе я получила прозвище «Шалыпин». О том, что был такой великий певец, я не знала и думала, что дразнят меня Шалыпиным из-за шляпы. Но в ней я казалась себе красивой, поэтому упорно ее не снимала. В нашем дворе стоял семиэтажный дом (он и сейчас еще цел), его третий этаж украшала скульптура рыцаря, а парадный вход в то время был расписан какими-то картинами из эпохи Средневековья. Мраморные лестницы вели наверх. Вот именно там, где были эти почерневшие картины и лестницы, мы устроили свой дворовый театр, кото-

рый я назвала для себя «Театром волшебной сказки». Там мы ставили свои сочиненные по сказкам спектакли. Мне приходилось играть мужские роли, так как мальчиков у нас не было, а все девочки хотели быть принцессами и обязательно красивыми. Костюмы мастерили из всего, что удавалось стащить из дому. Родители у всех работали, бабушек почти ни у кого не было – мы были предоставлены сами себе и делали что хотели.

В школе я училась хорошо, но, пожалуй, старалась только для того, чтобы на меня не обращали внимания и оставили бы в покое – не вызывали родителей, не ругали... В школе я выполняла минимум требований, а вся моя настоящая жизнь сосредоточилась на книгах, нашем театре и на несбыточных, странных мечтах. Перечитав маленькой девочкой почти все имевшиеся тогда в театральной библиотеке мемуары великих артистов, я стала рисовать себя во всех желанных ролях, и долго в моем школьном портфеле, который хранился у моей сестры Антонины, лежали два рисунка с надписями: «Я в роли Маргариты Готье в день моего славного 25-летия сценической деятельности» и «Я в роли Клеопатры в день моего славного 50-летия».

Я буквально пропадала в театральной библиотеке, перечитала все журналы «Рампа и жизнь», «Театр и искусство», знала всех актеров и антрепренеров по именам и фамилиям, разыскивала старые газетные рецензии, театральные фельетоны и прочее в том же духе. И когда я, будучи юной артисткой Театра сатиры, разговорилась с Владимиром Яковлевым Хенкиным, он был поражен моими познаниями, так как тех людей, о которых я читала, он знал лично, но все это было до революции, а я пришла в театр в 1948 году, уже после Великой Отечественной войны.

В далекие предвоенные годы я подружилась с Катей Розовской, в замужестве Дыховичной, и вот уже семьдесят лет она является моей лучшей, любимой подругой. Мы вместе играли в куклы, вместе мечтали о сцене. Я стала артисткой, она – театроведом. Теперь у нее уже внук, у меня – только Театр. Только рожденные мною роли. Но это не так уж мало.

Семья Кати – интеллигентная еврейская семья – была еще менее благополучна, чем наша. Отец ее был репрессирован в 1933 году. Катя с мамой чудом уцелели. Мама оставляла ей еду на целый день, а сама уходила на работу. Катя по доброте душевной делилась всем со мной. В те годы я была на вид здоровущая, румяная девчонка, а Катя – худенькая, хрупкая, с огромными черными прекрасными глазами. Она меня угощала бутербродами, я все съедала, а потом ее мама, видя произведенные нами опустошения, частенько говорила: «Опять этот Стенька Разин все съел». Стенькой Разиным была я. Обретя подружку, так же любящую театр, я вступила в интереснейшую полосу жизни. Мы только и знали что бегали в театр, в театральную библиотеку и всё мечтали, как будем артистками.

Что же особенно запало тогда мне в душу?

МХАТ – с его старыми спектаклями, поставленными еще К.С. Станиславским: «Синяя птица», «Мертвые души»...

Любила я спектакли с Аллой Константиновной Тарасовой (особенно «Анну Каренину»), любила ее красоту, победное ощущение самой себя. Она с легкостью побеждала зал, потому что была прекрасна, обладая цельной, сильной натурой при удивительной, завораживающей женственности. Не мешали мне ни ее полнота, ни темперамент, который, как впоследствии я иногда слышала от профессионалов, был несколько истерического свойства. Я этого не видела, я была в нее влюблена.

Восхищала меня и Ольга Николаевна Андровская – ее улыбка, легкость, лукавство, женственность и редкостное обаяние. Я никогда не забуду ее леди Тизл в блистательном спектакле «Школа злословия» Шеридана. Андровская и Яншин в нем показали своим безупречным дуэтом высокий класс мхатовской школы. Вероятно, перед войной, когда поставили этот спектакль, Андровская не была такой уж молодой, но женщины очаровательнее ее я не могла себе представить. Неизменно хороша она и в кино. Вообще, в те времена, мне кажется, возраст

актеров не имел особого значения. На это как-то не обращали внимания. Они царили в наших сердцах.

Еланская в роли Катюши Масловой не казалась мне такой победной, как Тарасова, но она очень трогала и потрясала меня, особенно в этой роли. И самое удивительное, когда я смотрела спектакли, забывала, что это роли и актрисы. Вместе с ними я была на сцене, жила их жизнью, вместе с ними плакала и смеялась.

А после этих спектаклей, этих снов наяву, – мой дом, скромная жизнь, заботы о деньгах, капуста, картошка, день, похожий на каждый следующий, как будто ничего и не происходило... Конечно, я уносилась в мечтах далеко. И чем больше чувствовала себя другой, тем незаметнее, тише, скромнее была наяву – самая послушная, самая скромная, самая исполнительная дочка. Никаких игр, никаких срывов, никаких влюбленностей, одно послушание, а внутри своя упрямая, несбыточная страсть – сцена, другая жизнь, другие чувства, другие события.

...Нежная, тонкая, капризная, с серебристым, как эолова арфа, голосом – Бабанова. Мне нравились ее арбузовская Таня, Диана в «Собаке на сене», а вот ее Ларису в спектакле «Бесприданница» я не приняла, потому что мне очень понравился протазановский фильм, я смотрела его около десяти раз, знала наизусть и обливалась слезами в финале картины. Никогда не забуду, как Паратов – Кторов бросал свою шубу под ноги Ларисы – Алисовой и как она победно шла по ней и на лице ее горел восторг.

Чудесная Марецкая – одновременно земная и романтическая. Ее Машенька, трогательная, с простым детским личиком и удивительно горестными глазами, озорница Мирандолина! А ее прекрасные русские женщины в кинофильмах!

Остужев в роли Отелло, его неповторимый голос, его темперамент, одухотворенность. Внешняя красота и внутреннее благородство!

Алиса Коонен в роли мадам Бовари! Для меня она была чуть-чуть далекой, но такой удивительной, что забыть, как она шла по лестнице и говорила: «Все равно! Все равно!...» – невозможно.

Мир старого театра, который так пленял меня в книгах, вдруг чудился мне в тех спектаклях, о которых я так коротко сейчас вспоминаю. Ничего новаторского я в то время, наверное, не только бы не приняла, но и не поняла. Я даже и не слышала в детстве таких имен как Мейерхольд, Вахтангов. Целые театральные школы прошли мимо моего сознания, хотя время было тогда творчески ярким и бурным. Но я жила в рабочей среде, и эта среда была очень далекой от искусства. О Театре сатиры я и понятия не имела. Вот уж никогда не думала, что вся моя жизнь будет связана с этим театром, с этим жанром!

Мысленно возвращаясь к началу своего повествования, я думаю о том, что может извлечь из моего рассказа читатель. Ведь мое начало – это начало именно моей жизни, а у каждого она своя, неповторимая в своем времени и пространстве. Передать свою жизнь нельзя. Можно передать опыт, если он – твой профессиональный и жизненный опыт – кому-нибудь нужен. А в этом как раз нельзя быть уверенным. И все же...

Иной читатель может подумать, зачем я увожу его далеко в свое детство, юность, когда все это позади, теперь все совсем-совсем другое, и я давно другой человек. Но становление характера под влиянием жизни и есть сама жизнь! Когда человек с его понятиями о прекрасном, с мечтами и действительностью, не похожей на мечты, вдруг в силу различных событий пересматривает самого себя, становится другим. Когда одни и те же чувства могут вылиться в одно, а могут повести человека за собой и сделать его совсем другим. Поэтому пусть мой рассказ будет монологом актрисы, обращенным ко всем читателям этой книги...

Рядом с нашим домом был городской Дом пионеров, однажды с девочками со двора мы забежали туда и увидели объявление о наборе детей в хоровой кружок. Руководил хором Александр Сергеевич Крынкин. Меня уговорили попытаться счастья. Когда я пришла на прослушивание, он, чтобы снять мою скованность, сказал мне ласково и весело: «Моя фамилия Крынкин,

но между собой вы можете называть меня Крыночкин-Баночкин». Я рассмеялась, и он вместе со мной. В хор меня приняли, и я с радостью бегала туда на занятия, но подружек там не имела, потому что всей душой была предана своей Катюше, которая, к сожалению, петь не могла.

Однажды на афише, приглашающей на «Пер Гюнта» в концертном исполнении, мы рядом с именем Яхонтова прочли имя Веры Леонидовны Юреновой. Юренева исполняла роль матери Пера Гюнта – Озе. Нас поразили ее голос, ее вид. Это была уже старая женщина, маленького роста, с рыжими, в больших кудрях волосами, с густо накрашенными веками прекрасных черных глаз, яркими губами, в каких-то странных одеждах. Вся она казалась нездешней, несегодняшней, романтической, несчастной, окутанной тайной. И, конечно, мы обе возмечтали именно ей поведать о своей любви к сцене, прочесть что-нибудь, чтобы услышать именно ее приговор. Прочитав о ней в библиотеке все, что могли, влюбившись в ее театральную судьбу, мы нашли ее телефон и адрес и рискнули попросить о встрече. Она согласилась. Мы стали готовиться. Перечитали множество отрывков и остановились на монологе Нелли («Униженные и оскорбленные» Достоевского). Потом мы слышали этот монолог в исполнении Гиацинтовой на ее юбилейном вечере. Вот чудо-то! Совсем немолодая женщина на сцене сыграла Нору, сыграла Наталью Петровну («Месяц в деревне») и вдруг, ничего не приукрашивая в своей внешности, не стараясь быть моложе, читает монолог Нелли – и перед нами вдруг предстает девочка со всеми ее страданиями, протестом и жаждой справедливости.

Софья Владимировна Гиацинтова в своей книге «Наедине с памятью» пишет: «У каждого артиста, если он одарен и трудолюбив, за жизнь набирается много хорошо, часто отлично, сыгранных ролей. Но у каждого есть свои роли <...>, их дай бог несколько набрать. Судьба Нелли стала кровно моей, я, играя, уже не отличала себя от нее, жизни, сердца наши соединились. И как передать это волшебное чувство головокружительного полета, этот восторг, охватывающий во время спектакля, – и каждый раз заново, будто все больше раскрывается глубина Достоевского, его мысль, боль и я <...> растворяюсь в них, живу».

Именно такими же словами и я могла бы рассказать о своих любимых ролях, которые дали мне такую же полноту и глубину существования на сцене, это – Раневская, сыгранная мною в спектакле Тверского драматического театра «Вишневый сад», Кручинина – в спектакле «Без вины виноватые» Орловского драматического театра, Эстер – в спектакле «Священные чудовища», шедшем на сцене московского Театра сатиры...

Вообще Софья Владимировна Гиацинтова заочно оказала на меня как на человека определенное влияние. Лично с ней я не была знакома, но читала о ней, видела ее работы в театре, слышала ее выступления, раскрывающие во многом ее человеческую, гражданскую, актерскую сущность. Я почему-то всегда верила ей. Ведь личность человека воздействует не меньше, чем само искусство. Поэтому и я на творческих встречах со зрителями (которых очень люблю) всегда стремлюсь раскрыться как человек, считаю это очень важным.

У нас любят актеров, им верят, и тем важнее, если видят, что за успехом, за блистательностью профессии стоит живой человек, разделяющий все горести и радости других людей.

Вера Леонидовна Юренева жила на Стромынке в маленькой отдельной, по-моему двухкомнатной, квартире. Дома она оказалась такой же нездешней, залетевшей из далекого прошлого: все те же кудри, то же прекрасное постаревшее лицо. Вся она была какая-то вне быта, неустроенная, беспокойная – какой-то комок нервов, хотя и очень приветлива. Мы рассказали о своей любви к театру, о том, что читали о театре, что знаем о ней, чем подкупили ее. Она, вероятно, не ожидала от нас такой любознательности. Потом она попросила нас почитать. Мне кажется, я на нее не произвела впечатления – уж очень у меня было сытое, краснощекое лицо, а вот Катя с ее нервностью, бледной хрупкостью, черными огромными глазами, копной черных кудрей и надтреснутым голосом, который очень подходил к страдающей и гордой Нелли, по-моему, ей понравилась. Она не выделяла никого, чтобы не обидеть, но Катюше посоветовала лечить голос, так как без голоса актрисой быть нельзя. Окрыленные такой романтической

встречей, мы еще больше утвердились в своей мечте, и снова театральная библиотека, театр и тысячи планов, как стать актрисой.

Планы, конечно, были один безумнее другого. Мы мечтали убежать из дома и поступить в какой-нибудь провинциальный театр хоть кем-нибудь, а там какой-то неожиданный случай, дебют, как у Ермоловой, и начнется театральная жизнь, полная приключений. Жизнь, вычитанная из старинных театральных мемуаров.

Однажды наш хоровой кружок Дома пионеров выступал в Большом театре, и я вместе с еще тремя ребятами была запевалой. Солистом был Марк Осипович Рейзен. Пели мы «Широка страна моя родная».

Итак, смешная мечтательница, на вид очень тихая и уравновешенная, с розовыми щеками с ямочками, в душе упрямая, даже по-своему стойкая, определенная в своих вкусах, я жила, предоставленная самой себе. Это и хорошо, и плохо. Хорошо потому, что все, что было необходимо моей душе, не было сбито или размыто чем-то посторонним, я рвалась к одной цели. А плохо потому, что, предоставленная своим мечтам, начитавшись книг, которые были для меня реальнее, чем действительность, я могла совершить непоправимые поступки и однажды даже сделала глупость, которая, к счастью, закончилась для меня благополучно: прочитав какую-то книгу (сейчас даже не помню какую), я решила, что лучше умереть молодой, чем жить и постепенно разочаровываться в жизни. Я взяла бритву и дважды порезала себе вену, но бритва впивалась мне в руку, и порез получился не очень глубоким, крови пролилось немного, я опустила руку в теплый таз в надежде, что тихо, красиво умру, но ничего подобного не случилось. Поняв, что я остаюсь живой, я завязала руку, чтобы родители меня не ругали, а главное, чтобы не обратили на меня внимания. Все прошло незамеченным, завязанная рука не вызвала интереса, а в память об этой детской глупости у меня на левой руке в сгибе локтя остались две белые черточки.

В 1941 году, когда мне было пятнадцать лет, произошло событие, потрясшее нашу страну, весь мир. Началась Великая Отечественная война.

Она грянула как гром среди ясного неба. Газет я тогда не читала, что-то слышала о войне в Испании, о Долорес Ибаррури, что-то говорили о фашистской Германии, но это было так далеко и нереально, что война, которая обрушилась на нас, в первый день была воспринята мною скорее как потрясающее событие, а не как всенародное горе. Из репродуктора гремел голос Левитана, на улицах небольшими группами и в одиночку стояли люди с заплаканными или полными недоумения лицами. Сообщалось, что немецкие войска продвигаются молниеносно, и это было непонятно и страшно – ведь мы так привыкли слышать, что мы сильны!

Начались первые бомбежки. Этот ужасный, тошнотворно-отвратительный вой сирен! Сам по себе он был необходим, оповещалось об опасности, но я физически не переносила этот вой. Меня начинало подташнивать, может быть от страха, хотя страха я до первой бомбы не осознавала. Я дежурила вместе с другими на крыше нашего семиэтажного дома, гасила зажигательные бомбы в ящиках с песком, которые стояли на чердаке, или сидела там с дежурными и смотрела на тревожное темное небо, лучи прожекторов, которые нащупывали вражеский самолет, видела разрывы снарядов от зениток, которые стояли на крышах домов.

Тревогу объявляли часто. Ночью было особенно тяжело – мы шли в бомбоубежище и там ложились на носилках, на дощатых нарах спать. Брали с собой одеяла и подушки. Окна домов были крест-накрест оклеены белыми бумажными лентами, чтобы не бились стекла. Вечером и ночью Москва погружалась в темноту. По правилам светомаскировки окна по вечерам зашивались плотными шторами, одеялами и т. д.

Война разбросала нашу семью. Мама с двухгодовалым братишкой была эвакуирована в башкирскую деревню, старшая сестра Валентина, окончив медицинский институт, была направлена в киргизскую деревню. Там, в Киргизии, в Нижне-Чуйском районе, она прожила всю свою жизнь, работала врачом в сельской больнице, вышла замуж, воспитала троих детей

своего мужа, мать которых была лишена родительских прав. Но всю жизнь Валя мечтала вернуться в родную Москву, и лишь под конец ее жизни я смогла помочь им с мужем переехать в небольшой городок Конаково, как раз неподалеку от нашей Твери, но прожили они там недолго... Каждый год весной и осенью мы приезжаем к ней на могилу... Возвращаемся всегда с тихой грустью, но на душе становится светлее. Другая моя сестра – Антонина – жила в Москве, мы с ней были очень дружны, и для меня радостно, что спустя годы я всегда могла ей помочь во всем, что было в моих силах. Во время войны (да и после – до самой пенсии) она работала в Министерстве, а тогда Наркомате обороны и до середины октября 1941 года оставалась с нами. Завод, где отец работал механиком гаража, из Москвы не переводили, и я решила быть рядом с папой. Куда его пошлют – туда и я поеду; если он в Москве, то и я с ним. Шестнадцатого октября все учреждения покидали Москву. Я помню этот страшный день. Шел холодный дождь со снегом. Улицы были полны разнокалиберными машинами. Где-то что-то заколачивалось, кто-то грузился, слышались ругань, плач. Казалось, что улицы наполнились каким-то зловещим гулом. Все двигалось... Я прибежала к месту работы моей сестры Тошеньки – тогда очень молоденькой и хорошенькой девушки. Мы едва успели попрощаться, и было ощущение, что разодрали на две части живое существо. Их машина тронулась, а я пошла под дождем домой и по дороге плакала навзрыд, в голос, и голоса моего не было слышно от гула машин. В те минуты я не могла даже предположить, что всю свою жизнь каждый год буду с нетерпением ждать этого праздника – Дня Победы, что ощущение всеобщего единения и всенародного счастья, охватившего людей 9 мая 1945 года, когда, совершенно не знакомые друг с другом, они обнимались, поздравляли и благодарили друг друга, будет возвращаться в души людей в этот день и спустя 25 лет после победы, и спустя полвека...

В те же дни вместе со своей матерью уехала в Сыктывкар и моя подружка Катя. Мой отец пропал на работе. Я была совсем одна.

Все хозяйственные заботы по дому, естественно, легли на меня. Вскоре я поступила к отцу на завод во фрезеровочный цех, мне выдали, как и ему, рабочую карточку, а чтобы не бросать учебу, я перешла в вечернюю школу (как тогда говорили – школу рабочей молодежи). Начались морозы. В комнате у нас появилась маленькая железная печурка. Получив по карточке мыло, я ходила вместе с дворовыми подружками в подмосковные деревни менять его на мороженую картошку. Однажды папа, собрав какие-то не самые необходимые для нас вещи, в том числе оранжевый абажур и мою знаменитую шляпу, в которой я чистила картошку, пошел на рынок в надежде продать что-нибудь или поменять. Я пошла с ним, а потом мы как-то разминулись, и каково же было мое удивление, когда я увидела его издали, его руки, державшие абажур и шляпу, замерзли, и он надел абажур на голову, а шляпой махал, словно веером, пока другая рука отогревалась в кармане. Милый мой папа! Даже сейчас, вспоминая это, я думаю, каким нелепым он, наверное, казался иногда моей маме и каким же дорогим он был для меня с его неумелостью и нескладностью.

В эти годы папа стал часто молиться Богу. Уж очень, наверное, одиноко было ему.

Вообще в нашей семье отношение к религии было, я бы сказала, нравственное. Церковные каноны не соблюдались, никто не отбивал поклоны перед иконами. А вот заповеди мы знали хорошо. Я с детства слышала, что человеку надо быть добрым, честным, трудолюбивым, скромным, и мне кажется, что папа мой очень соответствовал этому идеалу, то есть был почти святым человеком, а мама была натурой ищущей, неуспокоенной, общественно отзывчивой, протестующей против безвольного отношения к жизни и, по-моему, достаточно грешной. Но не мне об этом судить.

Как я уже упоминала выше, атмосфера и уклад нашей семьи были близки к деревенской патриархальности, но это не значит, что мы не были людьми своего времени, своей страны: все, чему учили нас в школе, о чем писали в газетах, говорили по радио, – было для нас самым важным и насущным. Это укладывалось в наших душах вместе со всеми заповедями, состав-

ляя единый сплав. И жила я в годы своей юности, как и все тогда, – собранная, ни на что не претендующая, готовая выполнить все, что от меня потребуется.

В 1943 году в Московское городское театральное училище был объявлен набор на актерский факультет. Я решила попытать счастья.

Во дворе Театра имени Маяковского, в самом углу здания, есть дверь, которая вела на 4-й этаж, там и располагалось Театральное училище, в котором мне предстояло провести интересные студенческие годы.

Руководил Театральным училищем Владимир Васильевич Готовцев – ученик и соратник К.С. Станиславского. Много написано о том, как играл Владимир Васильевич Алешу Карамазова в спектакле МХАТ «Братья Карамазовы», какой он был Предводитель дворянства в «Мертвых душах». Я не видела его в этих ролях, да и вообще почти не видела на сцене – так скромно в те годы сложилась его судьба, но для меня он навсегда останется идеалом Учителя. Он был талантлив, справедлив, строг и добр одновременно и чужд всяческой суетности.

Учитывая свою внешность: краснощекая, робкая, наивная – тип доброй мешаночки, я хотела скрыться за нее и решила читать на экзамене монолог Липочки из пьесы Островского «Свои люди – сочтемся», а также басню Крылова «Волк на псарне» и стихотворение Ольги Берггольц «Кусок хлеба» о блокадном Ленинграде.

Студенты старших курсов всячески подбадривали нас, старались вселить уверенность в своих силах, так что атмосфера на экзаменах была очень хорошей.

Когда я начала читать свой монолог, Владимир Васильевич Готовцев сначала заулыбался, и лучики морщинок понеслись от его веселых, добрых глаз, а потом раздался его рокошующий смех. Он прервал мое чтение и с несказанной лаской, точно я была совсем маленькой, спросил, сколько мне лет. Моему ответу он не очень поверил, видимо, решил, что мне меньше, и снова спросил, стараясь быть строгим: «А ты не врешь?»

Завуч – Татьяна Александровна Маринич, седая, умная, добрая и деловая женщина, тоже смотрела на меня, лучась улыбкой.

После ко мне подбежал студент Юзек Секирин и стал обнадеживать, говорил, что я понравилась, что есть шанс, что надо оставаться такой же непосредственной...

Пронеслись три тура, огромное количество жаждущих отсеялось, и наконец заветные листочки с фамилиями принятых появились на стене. Счастье немыслимое, несказанное охватило меня! Я принята!

Так начались мои студенческие годы, до отказа наполненные радостью.

На первом курсе Владимир Васильевич часто вызывал меня на этюд по методу физических действий. Я писала письмо воображаемой ручкой, воображаемыми чернилами. Делала это старательно, с полной верой, и Владимир Васильевич снова смотрел на меня, лучась своими глазами, смеясь мощным рокошующим смехом. Что-то во мне его смешило, умиляло, потому что ведь знаю я, что ничего особенного я не делала, чтобы вызвать такое доброе к себе отношение.

Первые мои работы были исполнены по-ученически робко – Мария Антоновна из «Ревизора», отрывки из «Норы», из пьесы «Время и семья Конвей», играла я и Верочку («Месяц в деревне»), в общем, милых, обаятельных лирических девушек, вызывающих добрую улыбку.

Я ничего исключительного собой не представляла, просто была правдивой, скромной, была самой собой, а окружала меня удивительно добрая, веселая, молодая атмосфера, которая помогала всем.

Летом мы выезжали на торфоразработки под Москвой, и я вечно перевыполняла довольно тяжелые нормы, так как была всегда старательной и никогда, даже в мыслях, не пыталась от чего-нибудь отлынивать. Да это, думаю, было свойственно почти всем нашим студентам.

Училище наше славилось и своими выпускниками, и тесным, дружным коллективом, и духом студийности. Когда в ЦДРИ отмечалось столетие со дня рождения нашего любимого

учителя Владимира Васильевича Готовцева, было очень много его учеников – полный зал, все молодели на глазах, вспоминая о нем, потом вместе с дочерью Владимира Васильевича мы более тесным кругом поехали к нему на квартиру и там снова вспоминали, снова говорили с благодарностью об этом светлом, прекрасном человеке. Да мы никогда и не забывали его!

Владимир Васильевич дожил до 90 лет. Жил он со своей дочерью, в последние годы ослеп, но на слух по радио и телевидению, по газетам, которые ему читали, следил за своими учениками, помнил их и иногда писал им письма, полные отеческой заботы. Мне он однажды прислал такое письмо:

«Милостивая государыня, Верочка Кузьминична! Вчера слушал по радио передачу, в которой вы участвовали. Все было хорошо, но в одном слове вы сделали неверное ударение. Так по-русски говорить не полагается. Засим остаюсь преданный Вам Ваш педагог *Влад. Вас. Готовцев*. Нежно целую Ваши ручки».

Читая такую его записочку, я вновь чувствовала себя причастной к великому актерскому братству, как будто написано это было еще в прошлом веке, но чувства строгие и добрые вечны.

А Борис Рунге, который тоже учился в нашем училище, однажды получил от него такую записочку:

«Милый Боречка, один мой друг видел тебя на улице и сказал мне, что у тебя очень красное лицо. Ты, может быть, водку пьешь? Не надо – это нехорошо. Твой педагог *Вл. Вас. Готовцев*».

Вот такой милый, близкий и правдивый был наш Владимир Васильевич.

Актеры из нашего училища выходили профессионально подготовленными, с хорошей нравственной закалкой. Очень многие стали впоследствии популярными и любимыми зрителем. Это и Евгений Лебедев, и Верочка Орлова, и Ольга Аросева, и многие другие.

Вместе со мной в театре работает мой однокурсник Клеон Протасов, в которого я, будучи студенткой, трепетно влюбилась, играя вместе с ним отрывок из Тургенева «Вечер в Сорренто». Выпускница нашего училища Татьяна Махова когда-то прогремела исполнением роли Лизы Калитиной в «Дворянском гнезде» в постановке Плотникова. А дальше ее актерская судьба сложилась в Театре на Таганке не очень удачно в силу разных, не зависящих от нее, причин.

Конечно, окончив Театральное училище, я совсем не чувствовала себя профессиональной актрисой. Мне казалось, что я все та же девочка, жаждущая помощи от своих старших товарищей, от режиссеров, актеров, от случая, от судьбы, и я никак не надеялась на свои силы, на свое умение. Я только способна была делать все, что в моих силах, если со мной будут работать. Сама же я оставалась робкой, тихой, ни на что не претендующей. Я готовила себя к скромной судьбе, хотя отметки по мастерству у меня бывали высокие и иногда в мой адрес произносились какие-то добрые слова.

Но прежде чем рассказать о событии, сыгравшем в моей творческой биографии поворотную роль, я хочу снова вернуться к мыслям, связанным с трагическим периодом в нашей жизни – Великой Отечественной войной. До сих пор мысль о войне, кроме естественных человеческих чувств – ужаса, ненависти, протеста, – пробуждает к жизни и мощную вдохновляющую творческую силу. О войне пишут, говорят языком театра, кино. Мы видим войну в произведениях живописи, скульптуры, слышим ее в музыке. Причем часто их создают те, кто в силу своего возраста войны не познал. Но подсознательно они прочувствовали ее через рассказы о пережитом родными и близкими.

Вероятно, сильное горе, трагизм обстоятельств поднимают со дна души особую силу, жажду жизни, сопротивление омертвлению. Ведь я помню, что, несмотря на голод, холод, страх за близких, за себя, за страну, мы все редко болели, не ныли. Мы просто делали все, чтобы выжить, чтобы жить. И мы выжили, живем. И когда я очень пугаюсь будущего или очень тоскую о пусто промчавшихся годах, я подбадриваю себя воспоминаниями о войне, о том, как было

трудно, но как было прекрасно. Мы верили... Мы делали все, что могли... Мы помогали друг другу...

«Сказание о земле Сибирской»

Итак, война осталась позади. В моей студенческой, счастливой и такой насыщенной жизни произошло событие, повернувшее мою судьбу в неожиданное русло. Я была приглашена на одну из главных ролей в фильм знаменитого и талантливейшего режиссера Ивана Александровича Пырьева «Сказание о земле Сибирской». В этом фильме снимались звезды первой величины: Марина Ладынина, Борис Андреев, Владимир Дружников, Владимир Зельдин. А надо сказать, что в те годы выходило не очень много кинокартин. Их ждали, и поэтому фильм, снятый хорошим режиссером, сразу становился событием, запоминался надолго, его песни подхватывала и пела молодежь; дебютанты, снимавшиеся в нем, в один день становились знаменитыми.

Таким образом, мне выпал в жизни счастливый лотерейный билет. Но расскажу по порядку, как это случилось.

Однажды в училище, подойдя у раздевалки к зеркалу, я стала надевать смешной, многократно переделанный маминими руками капор. Этот капор сохранялся с детских лет моих старших сестер, но мама решила его подновить и отделала старым вылезшим беличьим мехом. Застегивался он на нелепую пуговицу от какого-то старого папиного пальто.

Скромное платье, бедное пальтишко, туфли на низком каблуке, купленные в детском магазине... Моя рожица как бы вылезала из этого капора своими красными, неумными щеками, глазами, улыбкой. Две женщины – ассистенты И.А. Пырьева, как я потом узнала, стоя около зеркала, внимательно разглядывали одевающихся студенток. Увидев мое розовощекое, добродушное лицо, они переглянулись и подозвали к себе. Вопрос прозвучал как гром среди ясного неба: «Девочка, ты хочешь сниматься в кино?»

Последовал ответ совсем короткий и ясный: «Хочу».

Они мне сказали, что знаменитый, талантливый кинорежиссер Иван Александрович Пырьев собирается снимать цветной музыкальный фильм по сценарию Помещикова и Рожкова «Сказание о земле Сибирской». Нужна молоденькая, никому не известная актриса с наивным лицом, «здоровущая, упитанная девка – кровь с молоком», как выразилась одна из них. Они назначили мне на следующий день встречу на киностудии «Мосфильм». Их интерес ко мне воскресил надежду, я как на крыльях полетела домой, а в душе все пугливо ликовало: «А вдруг это и есть тот счастливый случай, который так необходим иногда в актерской судьбе? А вдруг подойду? А вдруг... а вдруг...» – тысячи «вдруг» проносились в моей голове.

Прибежала я домой взбудораженная, лихорадочно соображая, в чем завтра идти навстречу своей судьбе. Поделилась с сестрами (наша семья тогда была уже в сборе). Они старше, обе модницы, у обеих много кавалеров, обе всегда соображали, как лучше одеться, а я со своими мечтами была на вид очень допотопна. И вот моя сестра Валя достала свое самое нарядное платье из синего креп-сатина (тогда это был модный материал). Я померила его и в ужасе увидела, что в нем я просто какая-то уродина с претензией на провинциальный шик. Средняя сестра Тоша дала мне туфли на высоком каблуке. На таких каблуках я ходить не умела – ноги болели, походка была скованная, но всем общежитийным советом было решено, что именно такой наряд соответствует виду артистки. Оставалось лишь уничтожить скромные косички, закрутить волосы на тряпочки и устроить на голове стоящую дыбом копну кудрей, вьющихся мелким бесом.

Наутро, не спав всю ночь от волнения, нарядившись во все чужое, со взбитыми немислимыми кудрями я появилась на киностудии «Мосфильм».

Пропуск получен, иду в комнату, где назначено свидание. Настроение – растерянность и отвага. Я шла к давно желанному счастью.

Встретили меня приветливо, во взглядах загорелись добрые смешинки. Появился Иван Александрович Пырьев – стремительный, деловой, буднично одетый, весь в своих мыслях, отдающий короткие приказы. Он сразу ушел в свою маленькую комнату. Я осталась одна в приемной с огромным альбомом фотопроб.

Все время звонил телефон, вбегали и выбегали люди, жизнь кипела, вокруг чувствовалась радость предстоящего большого дела. А обо мне словно забыли.

Наконец меня позвали к Пырьеву. Он встал навстречу, худой, бледный, с внимательными глазами, с прической мальчика, тонкие ласковые волосы, чуть взъерошенные, русые, с проседью. Смотрит на меня внимательно, руки не подает, не просит сесть, на лице разочарование, удивление и все-таки доля внимания и пытливость. Перед ним существо нелепое, претенциозное, безвкусно одетое, со странной прической и, очевидно, с наивными, испуганными и восторженными глазами. Сельские, как румяные яблоки, щеки с ямочками. Что-то есть, а чего-то, как всегда, не хватает.

Долго смотрел он на меня, не стараясь быть любезным, потом коротко предложил своим ассистентам, а их было много – и костюмеры, и администраторы, и гримеры: «Давайте-ка расчешем ее как следует». Тут же меня потащили в гримерную, расчесали мои проволоочные кудри, заплели косички. С ужасом увидела я в зеркале простейшее деревенское лицо с маленькими глазками. Не понравилась я себе ужасно! Ну какая же это артистка? В мечтах – Ермолова, Негина, Кручинина, Луиза, Катерина, а наяву рожица, словно блин, на которую и смотреть-то не хочется. Надели костюм Настеньки. И костюм меня не украсил – талия сарафана и передника высокая, и я стала как баба на чайнике. Ни моей стройности, ни тонкой талии – ничего не осталось. Последние надежды мои улетучились. Расстроенная, скованная в движениях вернулась я в сопровождении свиты старательных помощников к Ивану Александровичу Пырьеву. Каждую минуту звонил телефон, каждую минуту выполнялось очередное распоряжение Пырьева. Все мчались куда-то, все действовали, стремясь угадать малейшее его желание, предупредить малейшее возражение.

Меня сфотографировали, снова привели к Пырьеву. Снова его пристальный взгляд сквозь меня и снова короткий приказ: «Принесите два простых чулка». Побежали за чулками, не спрашивая зачем, лишь бы мгновенно выполнить то, что сказано.

Я с ужасом смотрю на ноги, думаю, что же еще ему не нравится? Чего же не хватает? Зачем еще какие-то чулки?

Принесли, запыхавшись, чулки. Иван Александрович берет их, комкает в два толстых узла, подходит ко мне. На мне – Настенькина кофточка в горошек с маленьким вырезом, чтобы молодая шейка была открыта, да крошечные, простенькие бусики.

Подошел ко мне, как к предмету, сунул в мое декольте по чулку в те места, где должна быть пышная грудь, которой у меня не было, затем отошел в сторону, внимательно посмотрел и сказал: «Ну, теперь все в порядке, а то фигура тощая, лицо толстое – не поймешь ничего...» И впоследствии, когда я уже снималась, он частенько напоминал перед съемкой: «Васильевой все подложили?» – «Да, да, Иван Александрович!» – отвечали хором ассистенты. «Ну, тогда можно начинать!»

В первый день мы не репетировали. На репетицию меня вызвали потом, и тут Иван Александрович был очень ласков со мной, чтобы я чувствовала себя свободнее, не «зажималась». Удивительно было слышать ласковые интонации в словах такого грозного и всеильного человека. Удивительны были теплота и нежность, бережность обращения, чтобы не напугать, ободрить.

«Деточка, а сейчас задумайся!»; «Ангелочек мой, крикни громко эту фразу, позови изо всех сил!» Я это делаю и слышу: «Умница, очень хорошо!»

А вот что пишет сам Иван Александрович по этому поводу: «Первое знакомство режиссера с актером – первую репетицию нужно проводить обязательно в интимной обстановке,

оставаясь один на один с артистом. Это необходимо для того, чтобы его не спугнуть, завоевать доверие, максимально избавить от стеснения. Во время такой репетиции у режиссера имеется важное преимущество – свежее восприятие актера. Вторую репетицию для пробы следует проводить уже с партнером. Если в результате двух-трех репетиций режиссер заметил в актере что-то интересное, можно перенести пробу на пленку.

Но какие куски пробовать – проходные или главные? Мне думается, надо снимать самые главные. Нужно бросить актера в гущу творческих требований, предъявляемых ему ролью. Это даст возможность выяснить, справится ли он с ней».

И мое первое знакомство с партнером состоялось на репетиции сцены объяснения в любви Бурмака Настеньке. Роль Бурмака была отдана любимому зрителями артисту Борису Андрееву. Большой, добрый, сильный русский молодец с умными озорными глазами и детскими добрыми губами.

На роль я была утверждена очень просто, без всяких сложностей. Если актер устраивал Пырьева, то не требовалось никаких обсуждений. Его авторитет, его сила были неоспоримы. Вероятно, он поверил, что сумеет из меня вылепить тот характер, тот типаж, который представлял, приступая к работе над этим фильмом.

Мое рабоче-крестьянское происхождение, мой наивный характер, актерская податливость и искренность натуры, вероятно, вселяли надежду – что-то может получиться.

Я никогда не забуду одну из первых сцен, которую мы снимали для фильма. Настенька почувствовала, что Андрей Балашов (его играл Владимир Дружников), тот самый Андрей, который ей так мил и так добро к ней относится, любит другую. Тихо идет она, опустив поднос, и, сев на скамейку, плачет. Бурмак утешает ее нежно и ласково. А я заливаюсь слезами. Сыграть это для меня было довольно легко, потому что Володя Дружников мне очень нравился. Он же ко мне относился просто по-дружески. В нашей репетиции сцена шла на уровне любого актерского отрывка для студентов Театрального училища. Достаточно правдиво, грамотно. Но вот подошел Иван Александрович и попросил Бориса Андреева встать и посмотреть, как это делает он. Пырьев сел сзади меня, как было установлено по кадру, обнял за плечи, и я почувствовала, как задрожали его руки от того, что он прикоснулся ко мне. Он не начал сразу меня утешать, а сначала как бы почувствовал мое сердчишко, дрожащее от обиды и боли, проникся нежностью и жалостью и, забыв о самом себе, отогревал меня своей любовью. В этом проявились участие, ласка человека сильного, большого и чистого. Андреев понял, что «пешком» эту сцену не сыграешь, и бросился в нее всем сердцем. В ней, как и в других, благородство его души сочеталось с индивидуальностью, очень ясной, почти детской – большой добрый медведь. Он покорял зрителя, влюбляя в себя, подчиняя, обезоруживая необыкновенной правдивостью характера.

Как-то по телевизору показывали этот фильм, и снова, спустя многие десятилетия со дня премьеры, ко мне подходили зрители и говорили: «Как же хорошо! Какие чудесные люди!» Они соскучились по доброте, душевной ясности и чистоте.

Конечно, жизнь очень изменилась и многое в фильме кажется сейчас наивным, старомодным – и манера игры, и сам сценарий, но искренность чувств по-прежнему заразительна.

Картина снималась в Чехословакии, на студии «Баррандов», а также и на Енисее в Сибири, под Москвой, в Звенигороде, где была построена наша чайная и где мчались русские тройки с бубенцами, а хор Пятницкого весело распевал песни. Снег бил нам в лицо, «сибирская» пурга выюжилась благодаря специальным ветродуям.

В Звенигороде я жила в частной избушке и ждала каждое утро, когда же начнется съемка, перед которой на съемочной площадке начинал кружиться какой-то вихрь: беготня туда и обратно, крики, ругань, стук и масса других звуков. Кто-то что-то строит, кто-то готовит актеров, кто-то что-то тащит – и все это кружение убыстряется и убыстряется к моменту, когда раздастся повелительный, резкий, вдохновенный голос Пырьева: «Мотор!!!»

И, собрав в комок, как для решающего прыжка в пропасть, свою душу, тело, нервы, актеры бросаются в стихию фильма, выполняя малейшую волю режиссера. Я, да и многие другие, веря в талант Пырьева, в его творческую интуицию, полную самоотдачу, безоглядно шли за ним, без споров, без скепсиса, без охлаждающего анализа и сомнения. Наверное, это не единственный и, может быть, не лучший способ актерского существования, но мной, в те годы молодой и неопытной студенткой Театрального училища, это воспринималось естественно, как воздух. И это называлось счастьем. Я была послушным материалом в руках режиссера. В те времена знаменитых артистов было значительно меньше, но благодаря своей славе они буквально купались в обожании. Да и сам Иван Александрович Пырьев окружал артистов атмосферой редкой бережности и любви.

В дни съемок я просыпалась рано и не могла дожидаться, когда же забегают по площадке люди, когда же начнется эта всеобщая лихорадка, подчиняемая только одному приказу – «Мотор!!!» Для меня это было непрекращающимся чудом, я всегда заранее приходила на съемки и наслаждалась всем, что там происходило.

Еще темно в нашей деревушке, только петухи поют, а я встаю сонная и бегу на площадку. Надеваю костюм Настеньки, сажусь в ожидании грима. Меня гримируют последнюю, сначала Марину Алексеевну Ладынину. Она – знаменитая советская кинозвезда, в то время жена Ивана Александровича Пырьева, что не мешает ему быть к ней моментами очень требовательным, раздраженным, но его раздражение может мгновенно смениться нежным воркованием. Не подумайте, что это какое-то семейное воркование, нет – это любовь к той девушке, которую играет Марина Алексеевна. Так он хочет взрастить в Ладыниной ту женственность, хрупкость, очень нужные ему в роли Наташи Малининой. И вот сейчас, играя на сцене и снимаясь в кино уже семьдесят с лишним лет, я понимаю, как нам, артистам, недостает подчас этой нежности, этого воркования. Да, логика, творческий навык, интуиция, знания нужны, но женщина расцветает не от этого, а от любви к ней. Сугубо рациональная работа никогда не даст тех плодов, что дает влюбленность в артиста, в его талант, в его особенности. Сейчас, когда я вновь, спустя многие годы, просмотрела картину, то поняла, что Иван Александрович пересластил нашу героиню. Но тогда, наблюдая его на съемках и репетициях, я радовалась, что есть на свете обожание, нежность, бережность, деликатность.

Думаю, что, прочитав эти последние слова, кто-нибудь из киноактеров, знавших Ивана Александровича, рассмеется и скажет: «Какой он в этом рассказе “розовый”, какой ангелоподобный. Разве это тот Иван Пырьев, которого иногда за глаза звали “Грозным”?» Да, тот! Хотя я его видела и грозным, как все, – трепетала, слушая его мощный разгон за какой-нибудь пустяк. И не так безмятежно сложилась моя дальнейшая творческая судьба благодаря его противоречивой, сильной натуре, которая могла повернуться и радужной, и темной стороной. Но это были мой первый фильм и мой первый режиссер.

Партнеры по картине относились ко мне ласково, чуть шутливо, не всерьез. Да и не могла я им казаться настоящей актрисой, и не была я ею в то время. Как же все-таки получился такой симпатичный образ Настеньки Гусенковой, который сильно изменил мою жизнь?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.